



АНТОН УСПЕНСКИЙ

# ОНА

ПОЭМА О РОМАНАХ

АНТОН УСПЕНСКИЙ

**Она. Поэма о романах**

«Издательские решения»

**Успенский А.**

Она. Поэма о романах / А. Успенский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-964438-1

В этой книге нет женских имён. Они излишни, потому что все истории доподлинно откровенны. Лица, души и тела тоже подлинны. Десять разных возлюбленных одного мужчины — десять глав, будто вырванных из разных книг и собранных в одну. Некоторые сюжеты даже не лиричны, они больше напоминают эпизоды криминальной хроники. А другие укладываются в тайно сохранённые ночные чаты. Как поясняет автор: «Все совпадения с реальными людьми, событиями и эмоциями совсем не случайны».

ISBN 978-5-44-964438-1

© Успенский А.  
© Издательские решения

## Содержание

пролог	6
бумажный дом	7
трагический герой	17
искусственный ангел	20
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# **Она Поэма о романах**

**Антон Успенский**

© Антон Успенский, 2019

ISBN 978-5-4496-4438-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## пролог

Мать умирала так долго и подробно, что подготовила к этому всех, а отец неожиданно опередил ее, за пару дней стремительно пройдя свой путь от болезни к смерти.

Живший у нас кенарь улетел, и мне оставалось лишь отдать все цветы в школу через дорогу, чтобы стать абсолютно беззаботным.

Прошел год без забот. Во мне накопились разговоры с ушедшими. Пытаясь разговаривать со знакомыми девушками, я потерял их всех. Друзья настолько привыкли помогать в тяжелое время, что взяли отпуск на легкое время.

Еще через полгода я стал захлебываться словами, держа за зубами язык, распухший от фраз. Литература шла горлом так, что меня постоянно поташнивало.

Не знаю, как чувствует себя зрелый кокон, но меня пора было разматывать. Я разрешил себе вступить в текст. Я был свободен как никогда.

Писать художественную литературу я не собирался, документальную не хотел, так что получается полу-фикшн, и все совпадения с реальными людьми и подлинными событиями не случайны.

Но это не воспоминания, впервые все оформилось в слова уже на бумаге или на мониторе. Я никогда не вспоминал об этом прежде, и никому ничего не рассказывал.

Нить шелкопряда – не леска спиннинга, и раскручивается она один раз.

Здесь не только она.

Кто здесь? Если кто-то прочел эти буквы, значит, читатель набрел на мой текст. Я не знаю тебя, читатель. Честно скажу: я не думал о тебе. Не обижайся на меня, мы не знакомы, но текст – это наш с тобой шанс.

Литературный повод для автора и читателя.

Хочешь пойти на поводу?

## бумажный дом

Она пригласила меня посмотреть работы.

Больше всего в этом маленьком доме было бумаги. Ватмана, картона, кальки, торшона, гознака, крафта. Мелованной и клееной. Гнутых рулонов и тасованных колод. Внутри дивана терлись форматные листы, ковер давил на расползающийся рельеф альбомных страниц.

Единственное, что я сделал здесь, это построил шкаф. Для бумаги. Все самые нужные листы она держала на верхних полках, просила меня их доставать. Я включился в механизм оборота шуршащих и погромыхивающих прямоугольников. Мелкие порезы по всему телу стали моей приметой. Она зализывала их так, как пробуют на вкус готовность медовых красок. Быстро и вслепую.

Ее улыбка заменяла шляпу с полями, прикрывшую счастливое лицо и огорченное тело. Лицо поворачивалось за солнцем на цветоножке тела. Она никогда не показывала спину.

Много позже я догадался, что у нее такая же рубашка, как у остальных из Большого аркана.

– Я чувствую, как у меня растут рога, – сказал Ингвар Хлебников, познакомив меня со своей женой. Растущий во все стороны, он хотел почувствовать на собственной голове и такой рост.

Первым, чем они занялись после свадьбы, были эскизы карт Таро. Они разделили колоду пополам и рисовали несколько дней и ночей – заказчик торопился. Медовый месяц, начатый таким гаданием на двоих, продолжился двумя судьбами, которые шли рядом не слипаясь, и выбирая будущее только из своей стопки картинок.

Я появился, когда Ингвар вытащил перевернутую карту «Дурак», встал вверх ногами и начал растить рога, чтобы оттолкнуться ими от Земли. Для левитации требуется преодолеть физический порог веса, быть легче сорока двух килограммов. Ему оставалось улетучить полтора.

Ингвар обладал чутьем распознавать самые удаленные точки, видеть самые неопределенные знаки и направлять свои усилия к апогею от любой плоскости.

Если бы он придумывал холодильники, их дверцы открывались бы вовнутрь.

– Ты чатишься? – спрашивал Ингвар меня так, как свахи из пьес Островского выговаривают: «Незачем Вам печалиться, Мокий Пармёныч».

Глинозем поселка Воробьевка, где вырос Хлебников, питался тяжелыми металлами своих заводов. Старые технические отстойники аборигены считали прудами, мимо них заводчане ходили на трехсменное производство.

Согласно брошюре, медитировать следовало на границе стихий, поэтому Ингвар устраивался в асанах на берегу пруда около трубы ТЭЦ. Воздух, вода и огонь раскрывали для него свои тайны. По тропинке шли рабочие электролитейного цеха, рядом неотдохнувший близился к порогу левитации.

«Пускай художник-паразит другой пейзаж изобразит».



Ее Ингвар называл Императрицей, по первой карте Большого аркана, которую она нарисовала. Семья и друзья были Малым арканом.

Мама Ингвара, Ирина Ингваровна Белозерская работала в области литературы, ей поклонялся писатель-фантаст областного масштаба. По поводу выхода книги Белозерской «Спасенный Спасск» фантаст подарил ей упаковку писчей бумаги. Та поначалу обиделась, потом узнала «бумага-то как подорожала», и снова благоволила.

Ингвар Хлебников был окружен литературно-бумажной деятельностью и выходил из окружения, разделяваясь со случайным прохожим текстом.

– Зачем ты взял ружье, капитан?

– А ты боишься?

– Нет!

– Хочешь, я весь мир положу к твоим ногам?

«Положу весь мир. У меня ружье. Почему ты его не боишься. Без ружья положу на весь мир» – записывал Ингвар.

Литературой он владел как холодным оружием, которое держал за лезвие. Нарезавшийся в тексты, обескровленный, он отползал жить-заживать и добра наживать.

Вместо дневника он вел ночник, пока не устал.

Близким другом был Яша Турковский, сочинявший на досуге русско-шведский разговорник. Ингвар рисовал иллюстрации – муммиков, хемулей, тофсло-вифслу и другую нечисть, обучающую читателя своему языку. Яша был похож на всех обитателей Мумми-дола одновременно. Он разговаривал с Хлебниковым на постоянно высунутом и замусоленном языке давнишней дружбы.

Другим дорогим другом был Женя Курсков, изобразивший на экслибрисе Ингвара змея Кундалини. Символический змей полз на рисунке так, что опережал духовное развитие своего хозяина. Ингвар видел в этом перспективу будущего роста, и пользоваться экслибрисами сейчас отказывался. Женя занимался ксилографией, часами мучая собеседников рекомендациями по применению мессер-штихелей, техническими данными абразивных камней и анекдотами из жизни деревянных торцовых заготовок. Наиболее увлекательная история была о брусках красного дерева, из которых по недосмотру сколотили тарный ящик.

Самый большой и самый старший друг Ингвара ходил когда-то моряком дальнего плавания. После разговоров с ним оставались чертежи плавсредств домашнего изготовления, списки такелажа и маршруты средиземных походов. Ингвар, оставив жену, долго жил в квартире моряка, научившись выжимать зубную пасту плоскогубцами, мазать хлеб тонким слоем кулинарного жира и собирать лебеду.

С двух сторон ее родного квартала проходила железная дорога. Движение было скрыто ширмами лесополосы, местные называли деревья посадкой, искали там грибы и удовольствия. В ней постоянно кто-то отливал, кое-кого изредка насиловали, совсем редко кого-то убивали.

Хлебников придумал для этого места слово «поссатка» – по его главной функции.

В первую зиму мы не нашли другого места и видели окна ее дома сквозь березовый перехлест посадки. Она стояла на коленях около меня и, отрываясь, спрашивала: «Ты не замерзаешь?».

Она жила в безлюдной квартире, через которую всегда кто-то проходил. Ингвар прошел совсем. Его дочь Аля шла или гулять, или делать уроки, или спать.



Однажды по дороге в кровать ребенок забрел на наш диван, мы успели накрыться одеялом. Желая маме спокойной ночи, девочка уселась поверх меня, выбрав самое неудобное место. С трудом согнав разулыбавшуюся Алю, она гордо сказала мне: «Какая сообразительная!».

Мы проснулись оттого, что прорвало трубу и лилось прямо в комнате. Она выскочила к раскрытой почему-то двери и упала назад, задохнувшись от проглоченных фраз. Ее отец, раскачиваясь, мочился в дверной проем. Струя билась о прислоненный к стулу подрамник с затянувшейся акварелью. Управившись, он вышел, аккуратно прикрыв дверь.

Вернувшись ко мне через полчаса, еще в резиновых перчатках, она сказала: «Я помыла всё, и работу тоже. Знаешь, она стала лучше. Прозрачней, легче. Теперь я знаю, как ее дописать».

Она рассказывала, что ее отец называл мать только – «Рыжик». Она решила узнать почему, а тот долго не понимал вопроса. Оказалось, так лет тридцать назад звали белочку из детского фильма. С тех пор ласку сменила привычка, а жена не слышала от мужа своего имени.

В посадке мать изредка находила отца. Чаще всего он был на охоте. Приносил мертвых лисиц или раненых уток. Уток vyhаживал, подрезал крылья и сажал их в подпол. Там жило несколько самок и ревнивый селезень, было тепло, сделан небольшой газон и крошечный пруд. Добыча страстно любила своего охотника.

Запах утиного логова подтекал в бумажный дом. Щели над подполом заклеивали мятыми полосками, которые отлетали, подпираемые могучим природным поддувом.

Охотник не знал, что подранки пахнут так, что разворачивают мысль внутри головы. Он ничего не помнил про запах.

Мальчик засунул в нос горошину, не смог достать и побоялся рассказывать. Через шесть дней дыхания одной ноздрей нос стал горячо болеть – горошина выпустила корешок. Вытерпев еще сутки, мальчик признался. Проросток легко вытащили. Вместе с обонянием.

Привычка принюхиваться не появилась, что лишало жизнь суеты. О том, что пора мыться, ему сообщала жена. О том, что на кухне подгорает картошка, сигнализировал дым, добравшийся до комнат. О том, что охота дурно пахнет, ему не осмеливался сказать никто.

Здесь было на одно обоняние меньше. Когда мы расклеивались, я попадал в свободную нишу, из-за которой мой нюх удваивался.

Один раз выскочил прямодушный, одноцветный запах пластмассы. Идя ему навстречу глазами, я навел резкость на дальний комнатный сумрак. Там из-под детского одеяла торчал оранжевый длинноносик. Запах переходил во вкус, как будто я передними зубами терзаю гнущиеся грани сказочного носа-карандашика, оставляя на них слабые метки.

Рассмотрев утром игрушку, я нашел мелкие насечки от сменившихся тогда уже Алькиных молочных.

В квартире была комната-зала, где оказалось невозможно жить из-за чистоты. В зале доски пола мать заклеила клеенкой с пальмами и ходила в шерстяных носках. На шифоньере блестели фарфоровые рыбки с золотыми шариками в губах, окружившие косоглазую тур-

чанку в малиновых шальварах. Аля сказала, что разглядывая эти странные штаны, вспоминала бабушкино: «И в хэнде можно прилично одеться».

Внимательно установленный свадебный сервиз превращал застекленную полку в звякающий розарий. Пикуль, Мельников-Печерский, Лондон и Ян терпеливо стояли рядом.

Выбивание ковра и стирка занавесок обозначали сроки зимнего и летнего солнцестояния.

Нужно было посмотреть на термометр за окном залы, и отец отдернул штору вместе с тюлем. Там в позе Воина стоял голый Хлебников лицом на улицу. В полпятого утра декабрьской ночью.

Когда Инь и Ян почти восстановили взаимный ущерб вчерашнего дня и в Тибете близился восход, Хлебников забыл о тылах. «...Не забывайте о подушечках больших пальцев ног ...бедро заворачивайте вовнутрь ...мягко втягивайте анус».

Охотник подкрался к Воину сзади.

В то утро отец собирался не за лисицей, а за маслом, цистерну с которым накануне оставили в тупике товарной станции. К двум ночи самодельным керном наконец пробили днище, а очередь составила человек шестьдесят в немаркой одежде, с тележками и тарой. Охотника недавно смогли добудиться, но шанс добыть растительное еще оставался, лишь бы одеться по погоде.

Иногда проходящие разлепляли нас так быстро, что снять предохранитель можно было, только выскочив на улицу, вытащив его из застегнутых штанов и постаравшись не привлечь взглядов.

Я ездил к ней на трамвае-паркинсонике, чей самый длинный городской маршрут соединял наши дома, стоявшие рядом с конечными остановками. Часто я начинал хотеть ее уже на середине изогнутого пути и прикрывал желание курткой. Трамвай раскалялся и разваливался. Меня подбрасывало, трясло и раскачивало.

Она нахмурилась, убрала волосы под мужскую шляпу с короткими полями, обвела соски и пупок алой помадой, уселась на меня.

Да.

Я поскакал ей навстречу с шашкой наголо. На встречу с утроенным солнцем, дергавшимся в такт закатной скачке.

Солнцесплетение.

«Вот Либкнехт Карл въезжает сгоряча, верхом на Розе молодой, на Люксембурге».

Когда мы будем расставаться, она пометит ареал, изрисовав всю алую гильзу о мой диван в мастерской. Я потрачу неделю, добавляя к ее бешеным росчеркам сотни линий красного цвета и пряча среди маскировочных узоров последнюю записку.

Потом она говорила: «Самое лучшее, что у нас было – это пустая летняя дорога, и на ней – ты с молоком».

Я ходил в деревню за хлебом и молоком с круглым аквариумом. Заливал четверть шара молоком и затыкал его горячей краюхой. Возвращаясь с полутора сферами в обнимку, издали я всегда видел цветное пятно на повороте к кордону.

Мы облизывали хлеб, облизанный молоком.

В соседних бараках поселился детский лагерь баптистов. Кажется, все их занятия заключались в пении сваявшихся, вяленых, вялых псалмов. Когда старшие не слышали, изнемог-

шие от безделья дети перепевали гимны с другими, антибожественными словами и подлинным вдохновением.

Она пела, когда перемывала крашеный пол, закапанный только нами, акварелью и молоком: «Вывели ему-у-у, вывели ему-у-у, вы-ы-вели ему-у-у ворона-а добра-а коня-а-а...».

«Вывели ему два родимые пятна» – мог бы записать Хлебников.

Песчаный пейзаж не оставлял внутри барака никаких следов нашими ногами. Он заполнял стены бумажным путем, как переводная картинка. Беспросветная июльская зелень, шероховатые сосновые опушки и линиялое опустошенное небо выглядели списанными декорациями в глухом углу цеха.

На бумаге высыхал пересказ. Он начинался с акварельной лужи на листе стекла, со сплющенного цвета, вжимающегося в равнодушную бумажную плоскость. Задохнувшийся и оглушенный, цвет не оставался в покое, ему делались водные инъекции, необходимые для минимальной подвижности. Нежданные успехи гидропоники купировались выжатой губкой, мокрые раны заглаживались кистью. Вянущее притапливалось, набухшее высасывалось. Язык оставлял во рту вкус палитры. Между земноводной шкурой бумаги и замученными вкусовыми сосочками краска перекраивалась в цвет.

Акварелистка терла свою картинку отупевшими, певшими, евшими губами, зацеловывая ее до полужизни.

Разменяв осязание на зрение, стирая вкус с губ, она отдыхала и пела ненатертым голосом.

Утомленные детским вокалом баптисты говорили мне: «Ваша жена прекрасно поет».

Мы не давали клятву верности, мы почти сразу начали расставаться, мы почти не расстались.

– Я пыталась сама. И даже здесь не смогла без тебя. Помнишь дезодорант, который ты мне подарил? Можешь ревновать к нему. Мне не понравилось: он холодный.

Однажды я привез мелкую заразу из съемной квартиры, было не страшно, а смешно. Достали керосин, побрились.

– Как тюремщики, – сказала она.

Мы невнимательно предохранялись, но аборт она сделала не от меня. Ее нес туда на руках – у нее закружилась голова – яркий испанский метис, подданный Франции, всего на полтора месяца ввалившийся в ее жизнь.

Я не отрицал варианты, не задумывался о них, не удивлялся возможностям.

Я оказался закладкой в библиотечной книге.

В камерке изостудии, заполненной на две трети изрисованной детьми бумагой, было тесно, и я, убрав руки за спину, дотянулся до преподавательницы фо-но. Стали накоротке.

– Ого! – сказала она и хихикнула.

Мы решили бросить жребий, чтобы отвлечь себя хоть как-то. Карликовый холодильник в учительской хранил анонимную картонку с выпачканными двумя десятками яиц. Мы взяли по одному. «Это – не детское хулиганство, и я не понимаю, кому это понадобилось!».

После уроков мы встретились у гаражей, и я шариковой ручкой пробил маленькие купола. Из второго пахло так, что она мигом стряхнула его в полынь. Мое первое оказалось хранилищем высохшего коричневого шарика.

Мы вместе закопали его, похоронив свою несудьбу.

Шел обмен художественных веществ. Художники, учившие искусству, обменивались стихами и рисунками, слегка меняя имена и черты.

На рисунках у Шустровой  
нету ни одной коровы,  
они снятся ей ночами  
с непокрытыми очами.

Поутру рисует дева  
то, что ей вещает чрево:  
страстных женщин обнажение  
и мужское поражение;

так тела сплелись туго,  
что видны кишки друг друга;  
кто-то в колбочке зачат;  
три монашенки кричат,

и ребенок, как родной,  
за астральной стеной  
получает извещение  
из соседнего сплетенья.

Это все не просто так,  
в этом есть небесный знак!

Треугольника не было, потому что был любовный квадрат. Верочка Бодрова рисовала, преподавала и дрейфовала вместе с нами в сторону богемы.

Ее муж был спортсмен. Или бизнесмен. По крайней мере, его профессии, в отличие от наших, рифмовались. Он всегда был готов к контратаке, в замолчавшую трубку телефона вместо «да» он выкрикивал: «Я жду, смелее!».

Верочка формулировала черно-белые предложения, сериями картинок доказывая, что встреча мужчины и женщины приводит к рождению ребенка. Эта истина обескураживала литературным вакуумом, отсутствием физиологического рассказа. История была не в телах, а в формах. Мужская форма, в случае встречи на одном листе с женской формой, совместно проявляли свою избыточную часть, скоро приобретающую самостоятельность, – детскую.

Главным нашим развлечением была интеллектуальная групповуха. На четверых с редкими приглашенными наблюдателями.

Совместное рисование на заданную тему неизбежно переходило на личности, личности обреченно превращались в портреты. В пересечениях четырех энергетических полей возникавшие силовые линии складывались в рисунок, взаимное напряжение обретало графические объемы.

«Бутылочка» рисовальщиков. По- и внеочередное, перекрестное рисование-опыление. Каждому по-честному доставалась одна из сторон бумажного прямоугольника. Наши хоботки, щупальца, ворсинки и побеги обживали белую плоскость, выдалбливали и надстраивали третье измерение. Графика взаимно тянулась к центру, искала взаимности. Пыльца оседала.

Даже не глядя, я чувствовал жжение с той стороны – ее солнце подрумянивало с бочков мои глазные яблоки. Она дразнила глазастыми ароматами, приоткрывала булькающие горшочки, роняла цукаты с акварельных бисквитов. Она не могла без разноцветного полива, трое из нас рисовали всухомятку. Среднестатистическая влажность нашего графического продукта близилась к нормальной.

Она пришивала мне оторвавшиеся пуговицы. Своими длинными, прочными волосами. Нарочно выдергивала растущий, живой – «чтобы не забывал». Привязать собой, приметать к себе. Я не забывал.

Потом, чтобы нам расставаться дальше, я срезал все те пуговицы, которые она прихватила на свою живую нитку.

В четырехугольнике каждый через свои излишества чувствовал нехватку другого. Бодрова, просмотрев мои картинки, сразу спросила: «А где у тебя любовь?».

Мы с Верочкой пошли на этюды. Зимой на лыжах в сторону заброшенных коровников. Серый воздух наполовину состоял из сырого снега, пейзаж предполагался в любую сторону. Мой картон аккумулировал калории, на нем алел сарай, зеленели сугробы и мигали сиреневые излишества. Хлопья таяли, подлетая к выпуклым масляным сгусткам. Мы стояли спиной к спине, отмахиваясь кисточками от пленера. Избыточный цвет калорифером дышал в затихший передний план.

«Ты – мо-я ле-тня-я зима, мое зи-мне-е лето, из му-зыки и све-та сама, из му-зы-ки и света, света!».

Она ничего не хотела знать про свою спину.

Мы с ней брали в свои игры зеркало, это было не очень просто. Пробраться без свидетелей в ванную, ослабить болты и вытащить из самодельного шкафчика скользкий прямоугольник. Обратно – тоже – прислушиваясь, таясь и предвкушая. По дороге в зеркало попадали: пленка для теплицы, завернувшийся угол паласа, кольцо крышки подпола, ножка этюдника. Смазанное выражение наших лиц. Мы пробирались мимо со своим видеоискателем.

Мы смотрели не на себя.

Конечно, секс находится снаружи. Внутри себя столько не удержать, внутрь это можно вместить только временно. И снова вбросить в космос, согрев его. Что видит в зеркале солнечный зайчик? Не то, что ослепленный глаз случайно попавшего в игру незайчика.

Мы играли, и нас не слепило.

Мы слепились, слипались, слиплись. В зеркале был чистый свет, чистый секс, чей градус возгонки удерживал наши тела на прицеле. Мы блаженствовали как следствие, исступленно уставившееся на свою причину, ограниченную краями зеркала и исчезающую за ними.

Бумажный слой рос и пророс. Чтобы объяснить себе наши четырехсторонние отношения, мы придумали групповую выставку «Гости старого дома». Нас очаровали геометрические идеалы. Четыре участника, у каждого по четыре рамы, в которой по четыре работы. Форма рамы – квадрат. Мы хотели по-честному поделить этот мир. Мир был с нами не согласен.

В нашем квадратном каталоге было больше слов и фраз, чем линий и пятен. Друг Турковский внезапно сочинил статьи, Ингвар долго писал эссе белым стихом, я быстро писал черные стихи. Мы набивали наш сборник поспевающей литературой, как единственный чемодан обновками.

Друг Курсков без спешки верстал каталог. Мы прошли его творческими верстами шаг за шагом. Бумага не успевала остывать, переходя из рук в руки.

Хлебников нашел глубокую цитату для своих работ, но не знал, как ее правильно подписать: «из Праджня-данда» или «из Праджня-данды»?

– Я заболела. Ты меня слышишь? Голос пропал, сказали – мед и лимоны. Мед у меня есть. Ты приедешь? Я вся горю.

Круп задерганного трамвая, на котором я ездил к ней, имел красное тавро «Соблюдай дистанцию». Эти слова первыми встречали меня на ее земле. Конечная остановка.

Обошел дом сзади, шагнул в сугроб и стукнул в ее окно. Повод увеличить дистанцию, отдалиться. За стеклом – глаза, потом – глаза и шарф.

– Через решетку?

– Ты же знаешь, горло – мое слабое место.

– Твое слабое место – это я.

– Тебе нельзя у окна.

– Побудь со мной.

– Я принес.

– Они тут не пролезут.

Признак домовитости во все окно первого этажа. Грубая проволоочная сетка, ржавые квадраты. Я ободрал лимонам бока, темно-синий вечер подкрасился желтым запахом.

Жизнь маленького дома принимала меня. Принимала меня за лекарство. Сначала нерегулярно, потом чаще, потом вошла во вкус. Меня обволакивало.

Добавочки.

Можно на даче. К тете в Оршу. Сдать на права. Туда и обратно. Схожу поменяю. Рядом с элеватором гараж. Забрать из школы. Нас вместе пригласили. Обои поклеить. Я уже постирала...

Добавочки?

Я старался не поворачиваться к ней спиной. Старался не забывать, кто кого принимает. Снадобье пыталось-пряталось в коробочку-мастерскую, уходило от схемы. Схемы приема.

Договорился накануне, везти толстые квадратные стекла для наших выставочных рам. Хотели сто на сто, получилось меньше. Жизнь сопротивлялась геометрии. Я сопротивлялся намеченному и горел. Слабое место заявило о себе.

Стекла встали кристаллом, влипнув друг в друга без зазора. Зеленый срез. Клейкое стекло жележных конфет.

Блестело,

отклеивалось,

приклеивалось как желе.

Руки пачкали стороны квадратов.

Мелкие порезы я сумел зализать сам.

Никакого вкуса.

Температура.

Мы уставали по отдельности, мы изнемогали вместе. Нас тащило на встречу и обратно, в соответствии с припадочными приливами. Нам светили разные луны, фазы поднятых волн не совпадали.

– Я ездила к Ингвару. Просила, чтобы он мне помог. Это не то, из нашей прошлой жизни. Почему ты не хочешь быть просто скорой помощью, иногда? Здесь холодная печка горячее тебя.

Моя мастерская находилась в деревянном брусчатом доме, построенном до войны для забойщиков скотоприемного пункта. В окнах не было форточек, зато ими были оборудованы все двери. Вместо звуков от соседей приходили погостить запахи.

Память интерьерера, присвоенного живописцами, сказала на колорите картин, напомним по тяжести колоду мясника. Графики затыкали носы черно-белыми кружевами.

Выставка четырех, оформленная под одинаковые квадратные стекла, составленные рядом, образовала кубометр искусства у стены моего маргинального ателье. В углу рядом с печкой.

Тот мой год был посвящен Таити. Я делал копии с Гогена. Француз-любитель захотел расцветить свою квартиру на родине. Натуральный размер, натуральный цвет. Я подбирал фактуру холста, думая о джутовых мешках. Подбирал золотистый оттенок таитянской кожи, вспоминая гниющую гогеновскую ногу.

Француз подбирал работы по репродукциям. Я начал путешествие с «Королевы», ездил несколько раз смотреть на нее в московский музей. Запоминал цвета и записывал слова. Королева удалась.

Ближе к концу путешествия я стал похож на Гогена. Общался исключительно с полинезийцами. Всю зиму провел в тропическом пейзаже. Узнал секрет местного загара, смешанного из трех ярчайших красок.

«Отахи аллейн». Француз заказал копию работы, где на маленьком холсте еле помещалась таитянка, замершая на четвереньках. Любитель называл ее Лягушка. В такой позе можно только ждать.

В середине моей работы мы вместе дождались ее. Она давно шла в направлении меня и не могла свернуть. К ней опасно было прикасаться, я отдергивал руки.

Она пришла, загнанная весенним холодом.

Печка впала в летнюю спячку.

Я остыл, копируя холоднокровную.

Карминное, каминное, камельковое пятно. Карамельный постук невидимых туфель. Ее длинная раскаленная юбка с рябью узора размягчала встречные предметы.

Она был по пояс в огне и не могла согреться. Захватила плед и зажалась в диван. Спутавшийся красный рисунок обивки назойливо оживился.

Я сел к холсту так, что между нами оказалась Лягушка, закрывшая живую картину, оставившая фланги. Подвижная рама вокруг стоящей по-собачьи дикарки.

С флангов доложили, что она легла на спину, ее тело стало зеркально повторять гогеновскую натурщицу. Таборное одеяние выпросталось, рябь вздрогнула, диван-инвалид начал озвучивать все ее движения.

Я затирал короткой кистью фон, жесткий холст отзывался сухим шорохом. Подбираясь к контуру тела, щетина хрустнула во встречном сдвиге и масло затопило скважистое плетение льна.

Диван ломко позванивал и побрякивал, подстраиваясь под нее. Невидимая за живописной ширмой, она дотянулась до своего язычка и коротко заскулила.



Я выглаживал мягким колонком тугое тело, растирал сгущенные капли. Живая рама для копии. Края ритмично рябили, сбивали мою резкость.

Она звонила в свое удовольствие, диванные внутренности поддакивали.

Вот здесь.

Еще.

И здесь.

Лягушка почти. Выпачканные пальцы. Сгладить еще. Вытереть. Пусть. Да. Теперь – всё. Мы всё.

Лягушку француз оценил в пятьдесят долларов. Мне показалось это слишком дешево, и я отдал ее даром.

«Был художник молодой, а теперь он с бородой».

Удивителен был не пожар, а то, что он случился только после восьми лет искрометного дружеского творчества в доме из дерева, холста и бумаги.

Вертикаль пламени увеличила высоту крыши до готических пропорций, чей астеничный стиль сохранили потом все четыре трубы опаленных кирпичных печек.

Между ними на серых рыхлых углях обнажился кривой черный куб, похожий на безнадежно пригоревший слоеный пирог. Пожарная пена сняла сажу, и куб оказался хрустальным гробом, чудовищным брелком, раздувшимся секретиком. Заигравшихся в больших художников.

Выставка обрела абсолютную цельность, спаявшись в идеальную экспозицию – работы застыли в затылок, гуськом, очередью. Где не занять и не пролезть.

Пасьянс завершил свой цикл, став запечатанной колодой стеклянных листов. Графика слиплась в скульптуру.

«...И курочку гриля, халву ненавижу, но сейчас бы колбаски и песню ансамбля с названием Queen, бля».

Сначала мы с Гариком пили в мастерской-карусели, потом в троллейбусе, потом в почтовом поезде, медленном по сравнению с троллейбусом, потом на неподвижной кухне наших питерских друзей. Приходил кот, мы делились с ним закуской – оливками и шоколадом. Кот мечтал слопать прибавлявшиеся бычки.

К полудню всё остановилось. Приоткрытая хозяевами стеклянная дверь отразила две наших тощих бороды, выпростанных из под слишком белых для последних суток узоров розового одеяла.

– Лежа таким образом в одной койке, мы смотримся двумя чрезвычайно цивилизованными существами, – пока я думал эту мысль, Гарик сказал: «Как два педика на мелководье».

Я вдруг вспомнил: вчера в троллейбусе была она. Со своим теперешним, и его фамилия тоже Хлебников. Мы кивнули с задней площадки, он вскакивал пожать нам руки.

Время Императрицы кончилось, она не смогла уйти в отбой и начала новую партию. Да, кстати, – она научила меня улыбаться.

## трагический герой

– Это Макс звонил... Да, все нормально. Так странно, я ему почему-то не смогла сказать, что ты здесь. Неудобно было. Как будто мы с тобой любовники.

– Стеколыщика вызывали?

– Нет!

– Когда лез к нам, разбил стекло... Не важно... Нет, вроде трезвый. Все целы, он испугался, я орала. Я не знала, что так смогу... Соседка вызвала, ей лишь бы повод. Приехали, а она им про ванну и про «мальчик шумит». Запутала их, но даже лучше. Ложный вызов – решили. Пришлось бумагу ездить писать. Ладно... Не могу сейчас уйти – в окне ни стекла, ни задвижки. Мы же на первом. Максим на выездных, Сема в школе... Так ты это сможешь?

– Ты – счастливчик. У тебя карманная жена и сын.

– Не знаю, может быть – «прикидываться». Иногда друг другу говорят: «Пойду, прикинусь». А так – «работать»... Что за странный интерес? Хочешь знать закулисные тайны? Ничего особенного. Только теперь мне там появляться не стоит... Макс всех настроил против меня, он это умеет. Я же чувствую, как они смотрят, особенно Володин. Они же с ним на подмене в «Принце». Я тебе рассказывала, как он накушался у меня на дне рождения? Мы сидим, он вышел одеваться, потом заглянул: «Пока!». А у самого – куртка надета задом наперед и все пуговицы застегнуты доверху. На спине ведь – дотянулся, всё сам смог. Представляешь, какой профессионализм?! Но – может и сыграть. Ему жена как-то открывает, он – нормальный, она спросила что-то, чего он слышать не хотел, и – пожалуйста – в момент закосел, по стеночке сполз, и – спит, нет его! Спросить не с кого. Актер Актерыч такой... Мы раньше со всеми дружили, они Максу даже немного завидовали.

– Вы пока здесь отдохните, а я пойду схожу.

– Обычная мама, я с ней уже поговорила. Сказала: ждет нас, когда мы ни придем. Она одна справляется... Да там такой участок, одно название. Зато всегда есть чем заниматься. Сейчас кабачки таскает, я ей говорю: не набирай столько, но – это же мама... Давай, я о папе не буду, не хочу. Ничего интересного, Витька вот в него... Один раз по глупости. Просто попался, случайно. Хотя сам дурак. Мама очень переживала... Он – нигде, шатается, вот и доштался. Мне даже было спокойнее, когда он сидел.

– Ты представляешь: «отдохните»!? Мама такая смешная...

– Ты ей понравился, ты вообще должен мамам нравиться. О чем вы говорили, о «Поле чудес»? Сумел ее разговорить... Она сказала: «чтоб вам не мешать», вот и ушла побыстрей... Нам просто повезло, соседка тебя приняла за Макса. Без новостей обойдутся пока. Не думала, что можно вас перепутать... А ты маме, наверное, все про меня рассказал?

– А кровать поставим здесь, где тепло.

– Там пыль от печки сыплется.

– Будет у нас такая девочка. Мальчик ведь уже есть... Сема все прекрасно понимает, тут сериал шел «Моя вторая мама», он нарочно говорит: «Моя вторая папа», и нарочно при Максиме, вроде как он пошутил... Он? Ничего не говорит, и не скажет. Да нам сейчас вместе работать почти каждый день – месяц. Мы когда еще договаривались с этими садиками, график такой получился... Только обещай, что не умрешь от любви. А то я расстроюсь. Ты же должен мне с текстами, помнишь? Не умирай, обещаешь?

– И как же вы, гражданка, родного брата решили заложить?

– А вы хотите, чтобы я преступника покрывала?

– Она думала – чужой, бомж, потом поняла... Не сломал, так открыл, гвозди вытащил. Видно было, знает, где – что. И спал там... Давно, она мне не говорила. Витька ведь меня боится после того, но – я вообще не жалею. Все правильно... А я думаю: зачастила мама на участок... Сразу и позвонила. Мама плакала, просила, но я ей все объяснила, что еще хуже – бегать. Кто же знал, что то еще заявление старое так сыграет? Помнишь, ты меня там встречал, около? Я считаю, он под план попал, какой-нибудь квартальный, там у них. Сделали рецидивиста из ничего. И еще меня стыдили, что это я его сажаю.

– Я тебя люблю.

– Ты – мой трагический герой.

– Голову нагни. Лучше сядь. Это будет мой тебе подарок. Чтобы помнил обо мне... Все, больше не нужно, это как, гайтан называется? Ты лучше знаешь. Когда порвется, любовь кончится... Ты такой серьезный. Хороший, но очень серьезный, я даже за тебя переживаю... Прямо все по-настоящему у нас, как у больших... Ты не обиделся?

– Это не страшно, я однажды целый год жила без денег.

– А на репетиции Юля прибегает и прямо снизу мне кричит: «Тебе Антон звонил!». А я с Алексеем Михайловичем как раз разговариваю, он же ни про какого Антона не знает. Я киваю так, вроде это все нормально... Он не спросил ничего, естественно... Пока не знаю. У меня все получается в один день – и день рождения, и премьера, и с Семой эта история. Тут столько работы, ужас. Ты должен два текста еще переделать, помнишь? Ты сейчас на сколько?

– Конечная – хорошая станция, я сажусь всегда и еще минут сорок досыпаю, пока до работы доеду.

– Это я. У меня все хорошо, но я в субботу не приеду. Я нашла, здесь тоже можно смонтировать, так удобнее. Просто занято до конца месяца, стоит подождать и не кататься туда-сюда. Как у тебя дела?.. Ты – молодец, я тебя люблю... Только не грусти, а то у меня разорвется сердце. А у меня сдача, ты же знаешь... Юлька – хорошо. Они с Масиком мечтали тут: «Когда мы разбогатеем, купим много поролон, чтобы всем друзьям хватало места на полу». Юлька говорит: «Нет, сначала купим пену для ванн, а то помнишь, тогда?» Я тебе не рассказывала – Масик полез ванну принимать, ничего не нашел, взял «Ферри», налил себе. Говорит – он же финский, качество другое. Потом прыщи две недели сходили. Смешной такой.

– А я уже улетела... Вот так. Любовь и кровь. Надо все постирать.

– Ты, что, забыл? Так еще успеешь... И как же, все ваши будут, праздник, а тебя нет? Хорошо, ты сам подумал, ты большой... Вообще, я очень удивилась, когда так, на живот. Я не знала, что так можно, с Максом никогда не было... Юля сказала: он спит как русский витязь. Спрашивала меня: вы целовались? Вот... Теперь у нас есть тайна.

– Что ей передать?

– Передавайте ей привет. Я так понимаю, что она совершила в своей жизни большой ремонт, и я в нем активно поучаствовал. Счастливо вам всем!

Всё почти поместилось в горсть ей,  
но – мешая, верша, решая,  
нельзя отаваться гостьей,  
и горсть становилась – большая.

Вслед за нею хозяйка влекома  
прибывающим содержимым,  
если что и осталось знакомым, —  
увеличено и нерешимо.

Белье складками так измялось, —  
не разгладит зима, не остудит.  
Если мальчика не состоялось,  
Значит, девочки точно – не будет.

– Никакого функционального расстройства я не вижу. Энцефаллограмма в пределах нормы, ЭКГ, остальное тоже. Вы же женщина с образованием, сами видите. У Вас, кстати, не медицинское? Терминологией владеете. Думаю, зря Вы накручиваете, в смысле – переживаете. Мальчик ваш, хотя, какой он уже мальчик, сын ваш – взрослый совершенно человек, и, с нашей стороны, все у него неплохо. Ну, есть заторможенность небольшая, астеничность, бледный. Так сейчас январь, витаминов не хватает, пусть аскорутин попьет, бэ-шесть поколоть, поддержать. Спортом не занимается? А зря. На воздухе надо чаще. Спит хорошо, аппетит есть? Ну, мама всегда накормит вкусеньким, не в общежитии. Мне кажется, Вы преувеличиваете. Ничего страшного, абсолютно ничего.

## ИСКУССТВЕННЫЙ АНГЕЛ

Ее вырезал из фольги мой знакомый, когда готовил подарки для Нового года. Всем пришедшим досталось по ангелу, и мне тоже.

«Мы лежим на склоне холма, кверху ногами на склоне холма».

Она смеялась и откидывалась назад, выгнувшись как охотничий рожок.

Она смеялась куда-то наверх, будто там этому были рады.

Она смеялась навскидку в небо, пеленгуя рассеянных в облаках прохожих.

Здесь, на этом месте, она смотрелась совсем не местной. В среднерусском городе среднего размера и среднестатистического качества. Пресные горизонталы отторгали ее острый профиль фрейлины. На полки нормального магазина «Всё для дома» выставили быющуюся пастушку.

Не всё.

Шло время Гринуэя. В среднем о нем говорили чаще, чем его смотрели. Его воспринимали на слух – качество копий было ниже среднего. Кому-то было достаточно текста в названиях. Drowning By Numbers. Считаю утопленников. Читаю утопленников.

Под Гринуэя выпивались напитки, и наутро в чашке кипяченой воды всплывали: лес-карго, антарес-бетельгейзе, под-наблюдением-камеры-разумеется.

Мы с приятелем под гринуэя дошли из мастерской до развилки. Мой гринуэй не был похож на его гринуэя, захотелось сравнить, захотелось оригинального. Зашли к одному ближайшему общему – нет дома. Зашли рядом, без звонка – дверь открывает жена художника, напуганная гринуэем. Попали на финал – вор дегустирует любовника. Посмотрели.

Она меняла кварталы, улицы, квартиры. Всегда задерживалась на склоне. Останавливалась пожить в тех местах, где город был наклонным. Одна из стен ее дома была короче другой, какое-нибудь из окон показывало срез пейзажа. Идя к ней в гости, я никогда не шел ровно. То тянуло, поднимая на носок, то осаживало, стаптывая каблук.

Сгибы фольги не давят, они гнутся, посверкивая. Гибкая упругость оригами. Объем, всем обязанный плоскости. Ловкость рук, небольшие движения без предварительной разметки, и – внешнее становится внутренним, покров договаривается с изнанкой. Взаимность без швов и обрезков края. Последним, напутственным жестом отказываешься от двухмерного лежбища и приходит время подниматься. Можно повиснуть. Она летала.

Я, конечно, о ней что-то знал.

Дети, мужья, любовники, подруги – они существовали непрочно, как труппа сновидческого театра, не представляясь, но помогая моему представлению. Меня устраивала неплотная вязка такой пьесы, с не подсчитанными смысловыми рядами и пропусками сюжетных петель. Представление домашней вязки.

Я тогда восстанавливался после длительной чувственной контузии, мои дни были невыразительными, мои сны были заманчивыми, мои картинки просеивались через смеженные веки.

Она легко сыпалась  
сквозь сито сетчатки,

давая мягкий отпечаток,  
сбитый силуэт.

Она часто переезжала, меняла адреса, перевоза свой изменчивый театрик. Все мои знакомые художники помогали ей в этом хотя бы единожды. Жены художников инертно ревновали:

– Ну, что, перевез? Вещи, небось, устал разгружать? И как она тебе?

– Гибкая такая девушка...

Я прикрывал веки на все диалоги.

Ее работа казалась слабой выдумкой. Некоторая школа, растившая из обычных детей среднеевропейских гуманитариев. Прогулки между завозной немецкой философией и беспредметным рукоделием. Школьники прогуливались расслабленно: рисовали тремя самыми яркими красками, играли в некрасивых самодельных кукол и тянули хоровые песни с подстрочниками вместо текстов. Родители детей зачастую оказывались художниками. Отцы на удивление охотно приходили беседовать с мастерами (слово «учитель» под запретом – «мы ничему не учим, мы вместе учимся»). Все мастера были подвижными молодыми женщинами с импортным самовязом в головах.

Первый для меня дом стоял в школьном дворе, ее казенная квартира любому мастеру годилась на вырост. Дом строился после войны пленными, имел официальное выражение фасада и безвкусные конторские цвета. Высокие потолки и широкие окна отказывались быть посредниками пространства, кивая жильцам на их недородность. Стоящие смирно филенчатые двери смотрели поверх голов своих сутулившихся хозяев.

Проектировщик, окончивший училище гражданских инженеров еще в начале века, чертил планы и разрезы, наизусть помня все государственные стандарты, установленные для его ремесла. Балансируя между старой школой и новым планированием, он безукоризненно и бездумно заполнял листы, чувствуя единственную точку опоры в твердом грифеле своего карандаша.

Рутинное, как пыль, насилие впиталось в перекрытия и перегородки дома, не перекрашиваясь краской и не переклеиваясь обоями.

Длинный нелепый коридор  
залепило ночным белым светом.  
Лунный пластырь прихватывал  
мои босые ноги, натягиваясь  
между оконными переплетами  
и гладкими досками пола.

Сев на постель, я потер ступни друг о друга, счищая налипшие холодные следки.

Звонок телефона в черно-белой комнате повис кобальтовой лентой, перечеркивая обстановку. Еще две ленты, и – она подошла:

– Алё... Уже... Лучше замолчи!.. Нет, не надо...

Нас догнал прошедший вечер. Звонил тот, с кем она сегодня не попрощалась. Час назад он прокрикивался сквозь свою оглушенность: «Я тебя люблю, я тебя хочу», и сразу, не собираясь жить вечно: «Я поцелую тебя во влагище!».

Слово мне понравилось, потому что ударение он перенес на первое «а». Я подумал – так оживляют и наполняют соком анатомические термины. Там был еще один герой ее театра.

Может быть, главный, я не читал программки. Когда я уводил ее, герой кричал в нашу сторону: «Трубы горят?». Я не смог понять смысла, вспомнились какие-то фаллопиевы, и позже – набоковские «пузырьки гонадального разгара».

Мы выпали в ночь.

Антракт.

Она пропала в утренние зимние сумерки. За несколько часов вместе с зимой. Утром была свежая распутица с ярким салатным запахом. Все белое стало затоптано, и – никаких следов.

Единственная названная ее подруга отвечала мне в проем, брезгливо и внимательно. Через приоткрытую дверь засквозил чужой фон, оборванный криком: «Василиса, это – ко мне!». Первый план – точные удары косметики на грубом лице. Обещала позвонить. Я ходил по вчерашней карте, улицы за ночь стали короче, нахлебались снежного киселя. Не наверстать.

Исчезала часто и легко, появлялась неосязательно, просеиваясь. Отзвук перетонченного металла, отблеск невесомого зеркальца, отмах чего-то, сложившегося за спиной. Было – не было. Сотрясение фольги, громик в кукольном театре. Была – не была.

С ней связаны оттенки белого цвета. Ту зиму я прошагал в белых, по сравнению с городским снегом, штанах. Мы с ней разговаривали в доме, стоящем на подъеме. Пришли случайные участники мизансцены, за шумом не сразу увидев меня: «А мы думали, что Антон сидит в кальсонах!». Но сюжет не развился даже в виде серии реплик.

Встречаясь неразумно и непродуманно, мы, кажется, именно этим отводили многие подозрения. Разговаривая, мы настраивали заигранный инструмент, не торопясь и слегка недожима, оставляя пол-оборота на потом, когда все колки будут пройдены. Беседуя, мы настолько избегали конкретных букв и цифр, что загоняли себя в воздух по прозрачным лесенкам, теряющим призрачные ступеньки. В нашем вспархивающем диалоге было напряжение акробата, взлетающего при помощи бумажных вееров. Настоящие имена оставляли пробоины в перепонках папиросной бумаги. «Марья» – называла она свою маленькую дочь, и тут же раненый акробат оседал набок с большой дырой в подкрылке.

Мы поднимались за обещанием иного, нездешнего, не имеющего точек опоры в ежедневном мире.

«Люди на холме кричат и сходят с ума, о том, кто сидит на вершине холма»

Уравновешивая парные летные испытания, мы проводили совместное заземление. Лучшими из различных способов были походы на рынок.

Центральный холм города был обжит центральным рынком. Коммерция весело залезла на косогор, оставив на вершине белесую церковь в состоянии вечного ремонта. Рядом с ней алюминиевой площадкой улегся новый центральный павильон, радующий геометрическим сходством с ровесником-цирком. Внутри также была интересная разнообразная программа.

Границ у рынка не было, уже на центральном переяславском бульваре встречались крайние земли его бесформенного архипелага. Устроившиеся на газетных островах аборигены заманивали проходящих доступными вещами.

Бабушки – малоношенной обувью, ложками-сиротами и демисезонной одеждой межвоенного кроя.



Тетеньки – чудесами анималистики – пуделями, собранными из плетеных шаров синтетического шнура и дисциплинированно сидящими в лилипутском окружении зверинца, вытупленного из шоколадных яиц.

Дедки – шербатыми хрустальными пепельницами и небыющимися черными телефонами.

Дядечки – веерами самодельных резаков и металлической сечкой в чумазах фанерных ящиках.

Городские сумасшедшие паслись в окружении деталей своего анамнеза: грампластинок, отчетов партийных конференций, мистических брошюр и лунных справочников садовода.

Весь холм шевелился, перетапывался, прорастал будочками, лотками, контейнерами, они изменялись ежеминутно, как товар, закрывавший их стены и внутри и снаружи.

– Чу-у-у-до пе-е-на! – адекватная женщина с перманентной прической являет на огрызке ковра волшебство, захватывающее не меньше опытов из книжки Перельмана.

– Всё равно: что мед, что говно. Но мед-то послаще будет! – торгуются и обижаются, что торгуются.

Напряженно сидят на маленьких жестких табуретах маленькие продавцы мягкой мебели, которая соблазняет своими округлостями как плотоядные тропические соцветия.

– Нечего по рынку без толку ходить, – выезывает – на кого бог пошлет – засыпающая лотошница.

Свежим жженым железом брызжет от салютующего круга точильщика, звонко хрустит его золотой промысел.

– Почем корявые? Сорок?! Крестись! – встреча с первым разъездом отряда огуречников.

Трудно различимая личность укрывается под заплатами невероятно морских пейзажей, обсыпанных леденцовой крошкой – картины из балтийского янтаря, «авторская работа».

– Это у вас, дама, просто – трудная нога! – магические заклинания плывут из обувного ларька.

Профессиональная нищенка ритмично раскачивается на плотном толстом картоне – таблице разборки автомата Калашникова.

В центральном павильоне я чувствовал себя батискафом, зависшим над колониями актиний. Коренастые, укорененные, скорешившиеся жители, вместе накрытые куполом этого цирка, путали навигацию, уверяя меня, что я иду на небольших ходулях. Мои впечатления становились ходульными. Легкое головокружение дополнялось рассыпчатым эхом, возникшим из звуко-запахов и выгоняющим из-под свода потолка голубей, аплодирующих головокружению.

– Сколько у вас задняя часть, девушка?

Местная кухня не отличалась изысканностью, но главный рыночный продукт – свинину – брали на пробу перед покупкой, мусоля влажный срезок на языке. От вождения ее считали женского рода: мяса – она, «мяса вкусная сѣдня была».

– Арбус-марбус, мичательный вкус, куснешь-уснешь!

Крепкие старушки с пригоревшими лицами побирались предметно, по рядам частников, плотно набивая самошивные торбы чуть потраченным или милосердным. «Подальше положишь – поближе возьмешь».

– Капустку я с уксусом делала, скоропостижную.

Крепкие старушки с печеным румянцем делили молочное уголье, ошеломляя нарастающим удельным весом колобков, слитков, шматков, горок, банок, ложек. Стаканы каучуковой ряженки замороженного, задохнувшегося цвета затягивала выпукло-съедобная кожура.

«Но у холма нет вершины, у холма нет вершины, он круглый как эта земля».

Первый раз она поднялась со мной на рынок в авитаминозное межсезонье. Мы чавкали снежным сорбетом, сглатывали прозрачный с металлическим привкусом воздух, чувствовали как вытягивается наше теплое дыхание, расползаясь и смешиваясь с пресным бесцветным небом. Детское предвкушение простуды, подтачивая тугую перепоночку горла, заставляло искать противоядие серо-сырому весеннему полосканию, выслеживать пропавшие цвета.

Мелькали на краях наших разговоров, дразнились и прятались глупые цыплячьи пятнышки. Из раковины горла с каждым глотком суфлировали – аскорбинка, ее прыгучие драже, вероятно, потому и приклеенные к зеленым аквариумным веточкам, – они все чаще попадались в руках встречаемых вестников, спешащих с рынка. И вот в подножии холма, с подсказкой едкого запаха, с жертвенными осыпями желтой, разваренной пшенки возле коробок с ней.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.